

журнале «Русская мысль», куда Блок первоначально передал ее. Хотя царская полиция скорее всего ограничилась бы цензурным запретом текста, показавшегося ей «вредным». Интеллигенция оказалась изобретательнее. В цитадели русской свободной мысли — Религиозно-философском обществе состоялась сокрушительная проработка. «...Огненная ругань Столнера», — характеризовал Блок тональность одного из выступлений. Но и этого показалось мало — последовала критика в прессе. Профессиональные проработчики тридцатых годов приемы и методы брали уже готовыми...

Видимо, впечатления от той пропагандистской кампании подсказали Блоку гениальную формулу: «Кроме «бюрократии», как таковой, есть «бюрократия общественной».

«Независть к интеллигенции»; «чем ближе человек к народу (Менделеев, Горький, Толстой), тем яростней он ненавидит интеллигенцию», — таких выпадов немало в записных книжках.

Однако выделение особым списком Менделеева, Горького и Толстого показывает, что в представлении Блока интеллигенция неоднородна. Многозначительно его замечание: «Две интеллигенции».

Критерий, разграничивающий одну группу от другой, — близость к народу. Например, «начала славянофильства, имеющие глубокую опору в народе». О значении Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого сказано: «...Народ, выносивший их под сердцем...»

Характерен и другой критерий — по-народному требовательная и суровая любовь к России. «Любовь эту знали Лермонтов, Тютчев, Хомяков, Некрасов, Успенский, Полонский, Чехов» — из статьи «Народ и интеллигенция».

Как видим, все подлинно творческие силы русской литературы Блок собирает в одном стане. Ему противопоставляется бесплодное «литературное большинство». Вульгарное («Вульгарность»: А. Белый... Чулков, Арцыбашев-НЕ народное»). Равнодушное к народу. Ненавидящее Россию.

В статье «Народ и интеллигенция» Блок цитирует крылатое выражение Гоголя: «Нужно любить Россию... Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы — русский». И с едкой горечью задается вопросом: «Понятны ли эти слова интеллигенту? Увы, они и теперь покажутся ему предсмертным бредом, вызовут все тот же истерический бранный крик, которым кричал на Гоголя Белинский, «отец русской интеллигенции».

В той же статье отмечено, что между «двумя интеллигенциями» не может быть мира. «На наших глазах интеллигенция, давшая Достоевскому умереть в нищете, относилась с явной и тайной ненавистью к Менделееву». Здесь же вспоминается о том, что «начала славянофилов» «всегда были роковым образом помехой «интеллигентским» начинаниям».

Но трещина раскола проходит не только между двумя группами — она доит, разрывает сознание личности. «...Но... я интеллигент», — это признание Блока исполнено драматизма.

И такое наследие он признает своим: «...С молоком матери впитал в себя дух русского «гуманизма»... Я по происхождению и по крови... интеллигент». И еще о кровном начале: «...Во мне есть «шестидесятилетняя» кровь, и «интеллигентская» кровь, и озлобление». Когда Блок записывает: «Независть к интеллигенции», он тут же вынужден прибавить: «Одиночество». Отрываясь от спянного круга, он рисковал остаться один.

И в то же время не мог замкнуться в его тесноте. Потому что сознавал себя... интеллигентом. Расколотое сознание поднимало бунт, требовало исхода, за очерченные групповой солидарностью пределы: «Я чувствую кругом такую духоту, такой ужас во всем происходящем и такую невозможность узнать что-нибудь от интеллигенции, что мне необходимо иметь дело с новой аудиторией», — признается Блок. И делает принципиально важное уточнение: «Я хочу, чтобы зерно истины, которое я, как один из думающих, мучающихся и т. д. интеллигентов, несомненно ношу в себе, — возросло, попало на настоящую почву и принесло ПЛОД...»

Извечный инстинкт художника — стремление принести плод. «Беспочвенности... я не принимаю», ей «нет места среди нас — художников». А почва эта — вовне, у народа. Вот почему Блок постоянно требует от себя: «Расширить круг своей жизни»; «искать людей».

Думаю, разорвать замкнутость интеллигентского круга Блоку помогал и его «аристократизм». Вспомним — «аристократ» все-таки ближе к народу, чем городские господа. Собственно, тут излишни теоретические выкладки. Ежегодные хозяйственные заботы, хотя бы в силу житейской необходимости, сталкивали Блока с таким количеством крестьян, какое иной приват-доцент или редактор журнала, круглый год проводящий в столице, не видел за всю жизнь. Дневниковые записи свидетельствуют, что общение с людьми «от земли» оказывало большое воздействие на поэта.

Хозяйственные заботы — только част-

ность. Есть некая грань, отделяющая дворянина, посвятившего себя «умственному труду», от классической интеллигенции. Попробуйте Пушкина, Толстого определить как интеллигента — сразу увидите, что такое определение мало для них и в кулестии своей нелепо.

Конечно же — у них была своя почва, своя родная земля. Болдино и Михайловское, Ясная Поляна, Шахматово.

Как бы то ни было, из всех поэтов начала XX века именно Блоку дано было с особой остротой поставить вопрос о значении народной почвы для художника. Зерно, упавшее на камни, не даст плода. Жизненная сила — вот чем наделяет земля писателя. «Нигде не жизненна литература так, как в России, — с гордостью утверждал Блок, — и нигде слово не претворится в жизнь, не становится хлебом или камнем так, как у нас».

«Приобщение к народной душе» — формулировал Блок задачу художника. Он с волнением прислушивался к каждому сообщению о том, что его стихи поют в народе. Видел в этом свидетельство своего слова. «Анонимности» стихов, ставших псалмами, даже радовался его: «И малюду, который пел мои стихи, не было дела до меня. Автора «Коробейников» не знают».

Особое значение имела для Блока перепiska с крестьянским поэтом Николаем Клюевым. Разговор, начатый в письмах, Блок старался продлить — записные книжки и письма третьим лицам испещрены мыслями, на которые навели его клюевские «послания». «Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах», — делится радостью с Е. Ивановым в сентябре 1908-го. В дневнике 1910 года: «Клюев — большое событие в моей осенней жизни... его «благословление», рассказы о том, что меня поют в Олонецкой губернии».

Тем не менее, когда публицист народного направления предложил ему написать о Клюеве, Блок твердо отвел предложение: «...Любя Клюева, не нахожу ни пафоса, ни слова, которые передали бы третьему... нечто от этой моей любви...». В пояснении звучат пессимизм, разочарование в «заветных думах», о которых писал недавно: «Вы, Клюев, я... — все разделены, все говорят на разных языках, хотя, может быть, иногда понимают друг друга. Все живут по-своему».

Вот так-то: не просто говорят — живут каждый наособицу. Временами Блоку казалось, что между ним (и шире — интеллигенцией, без различия ее устремлений) и народом — стена. Ну, не стена, так пограничная «черта», переступить ее невозможно. Он обреченно размышлял о том, что самое дорогое для людей из одного (народного) стана непонятно и даже враждебно людям из другого. И наоборот. «...Ходят в народ, исполняются надеждами и отчаиваются... Может быть, наконец, поняли даже душу народную; но как поняли? Не значит ли понять все и полюбить все — даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя, — не значит ли это ничего не понять и ничего не полюбить?»

Этот трагический вопрос — не личный вопрос Блока — всей русской истории остается неразрешенным.

А все же ему хотелось верить: «Да, у меня есть сокровища, которыми я могу «поделиться» с народом», — записывает он, как бы подводя итог безмольному спору с самим собой. И вновь возвращается к той же мысли: «Крылья у народа есть, а в умах и знаниях надо ему помочь».

Самое поразительное — это «надо помочь» отнюдь не подкреплялось уверенностью в ответной помощи. Не было и мысли о каком-то, пусть самом возвышенном, «товарообмене» («сокровища» духовные в обмен ну хотя бы на советский паек). Эта нерасчетливая щедрость — как она характерна, как отмечает подлинного поэта. Блок шел к народу, несмотря на то, что в молчании повис заданный им роковой вопрос: «Что, если тройка, вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный воздух», — летит прямо на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель».

## «СВЕТУ НЕТ СОВСЕМ»

Блок вчитывался в слова Клюева — как древние греки внимали дельфийскому оракулу. А что мог открыть ему в те годы Клюев — старообрядческий пророк, по совместительству состоявший членом РСДРП, писавший прокламации не хуже штатного агитатора, популярный в столице чек-декламатор, перед выступлением передевавшийся в «мужичью» поддевку и наводивший румяна на щеки?

Клюев поучал: «Смело кричи Вам: не наполняйте чашу Духа своего трупным ядом самоуслаждения... Ободряя, уверяя, что кое-какие стихи Блока не чужды народу, хотя «в Питере мне говорили, что Ваши стихи утонченны, писаны для брюханов, для лежачих дам...».

Придуманные, худольные слова. Трошечная мудрость, за которой не стоило слать письма в Олонец.

В то же смутное время друзья Клюева торжественно проклинали «Китеж», «Радонеж» — символы русской земли. Новые люди воздвигнут «чертога» на «бездонном вытязе» — провозглашали они.

Не укорить хочу я крестьянских поэтов. В 20—30-е годы им предстояло пройти крестный путь, и эта дорога подняла лучшее из созданного ими к вершинам мировой культуры. Напоминаю об их «революционных» стихах не затем, чтобы сказать: смотрите, они писали такое. Чтобы ужасом катастрофы овеяло современных читателей: да же те, кто ближе всех был к земле, писали такое.

«К 1917 г. — свидетельствовал Г. Федотов, — народ в массе своей срывается с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и нравственные устои... В 1917 г. народ максимально беспочвен».

Потому — как только спали внешние обручи дисциплины — летом семнадцатого года покатылся фронт, пока не остановился под Псковом, где немцев не было со времен благоверного князя Александра Невского. Потому позднее интерпретации дошли аж до Ярославля, дотла спалив его в 1921-м, и покатылись дальше по телу России, во все ее концы. Потому реками потекла кровь русских священников, русских дворян и русских мужиков.

О причинах «срыва» — как они виделись Блоку — позднее. Теперь же — о последствиях происшедшего. О том, какое значение имели они для Блока и той традиции, которую олицетворял собой поэт.

Готовый броситься под грозную тройку, Блок верил, что его гибель, гибель людей его культуры, станет залогом возрождения. Он ждал прихода «человека-артиста», воплощения свободы и жизненной силы. Как многие русские художники и мыслители, поэт в сущности ждал прихода тысячелетнего царства. И потому верил: жертвы, которые предстоит принести во имя грядущего, как бы велики они ни были, не напрасны. И вот вместо почвы, вместо окрыления веры — «бездонный вытязь», аселенский холод провала и громащие над ним проклятия Радонежу, Китежу.

В начале 1917 года Блок еще мог обманываться, он уговаривал себя: «Все будет хорошо. Россия будет великой». Хотя тут же добавлял, не в силах сдержаться: «Но как долго ждать и как трудно дожидаться».

«Дождаться» с каждым днем становилось труднее. Прочитываемая дневниковая запись помечена 22 апреля 1917 года. 12 июля Блок возвращается к теме: «Отделение» Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю жалеть за «Великую Россию»... Если расплывется Россия? Расплывется ли и весь «старый мир» и замкнется исторический процесс, уступая место новому (или — иному); или Россия будет «служанкой» сильных государственных организмов?»

И — выразительная приписка: «Опора для нее (воли. — А. К.) я могу искать только в небе, но небо — сейчас пустое для меня...» Опора уже не в почве — в небе. Пустом небе...

А вот поразительная запись от 6 августа. Собственно, не запись — крик ужаса, оставшийся неуслышанным:

«Между двух снегов: — Спасайте, спасайте! — Что спасать? — «Россию», «Родину», «Отечество», не знаю, что и как назвать, чтобы не стало больно и горько и стыдно перед бедными, озлобленными, темными, обиженными!»

Но — спасайте! Желто-бурые клубы дыма уже подходят к деревням, широкими полосами вспыхивают кусты и травы, а дождя Бог не посылает, и хлеба нет, и то, что есть, сгорит.

Такие же желто-бурые клубы, за которыми тление и горение (как под Парголовым и Шуваловым, отчего по ночам весь город всегда окутан гарью), стелются в миллионах душ, пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести — то там, то здесь вспыхивает; русский большевизм глумит, а дождя нет, и Бог не посылает его!»

Тогда же, в первое лето смуты, Блок попал на съезд Советов. В дневнике осталась краткая, но выразительная запись: «На эстраде — Чхеидзе, Зиновьев (отвратительный), Каменев, Луначарский».

Известно, что перед смертью Блок пересмотрел записные книжки и многое сжег. Что-то казалось ему незначительным, а что-то, наоборот, и опасным. К 1921 году были изжиты все иллюзии. И все-таки запись об «отвратительном» Зиновьеве он оставил, хотя именно она была очень опасна — Зиновьев, единоличный хозяин Петрограда, массовыми расстрелами доказывал патологическую неприязнь ко всему, связанному с «темным» прошлым России.

Видимо, запись об «отвратительном» диктаторе была важна для Блока. Как знак, как символ. Только на миг представить — столетие вдохновенного ожидания установления царства разума и справедливости, столетие безрассудных подвигов во имя равенства и братства, вековая летопись хождений в народ. Все глубже, глубже — к заветной почве. Вот уже близок финал. И — отвратительное лицо Зиновьева, на недостижимой высоте каменеющей над взбудораженным залом, над разорванным муравейником губерний. Над пространствами и временами. Над русской историей.

О как иступленно рассуждают об этом финале «преемники» почетных либералов тех лет — с наших кафедр, со страниц сегодняшних газет. Хотя им ли пристало печалиться о разбитых надеждах — никакая, пусть и боковая, генеалогическая линия не выводит сегодняшних сердитых профессоров к тем, кто со «святою верой» готов был броситься прямо под несущуюся тройку! Но самое любопытное — кого же они во всем обвиняют? Да русского мужика.

Не только честен, прозорлив был Блок. Если бы не его (и столь же честных, как он, очевидцев) свидетельства — не вспоминали бы сегодня об «отвратительном» Зиновьеве. А если бы и вспоминали, то любя и восхищаясь. Не вспоминали бы и о том легионе, который готовил его торжество. Будто в пустоте совершился переворот, будто в одночасье, по мановению руки (да чей хотя бы?) рухнули устои, на которых стояли народ и страна.

Блок не унился до безответственности. И не подумал зарезервировать себе место в зрительской ложе, где в бархатном комфорте можно и всплакнуть над благородным героем-интеллигентом, и шикнуть на «неблагодарный народ». Со свойственной ему прямоотой поэт говорил собеседнику, нет, свидетельствовал для истории: «Вызвал из тьмы дух разрушения, нечестно говорить: это сделано не нами, а вот теми. Большевизм — неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье...»

Народ виноват? Ни одним словом упрека Блок не оскорбил народа. А для распалившихся в жажде насилия множеств он, как и подобает поэту, находит точное слово — толпа.

В 1919 году Блок пишет драму «Рамзес». Скорее, не драму, ряд сцен, где сквозит исторический антураж пробираются такие современные в эпоху продрозверстии и мобилизации мотивы. «...И всюду я видел одно, — как твои верные скрибы исправно отбирали хлеб у крестьян, так что не осталось во всей стране Юга ни одной жинины, которая смогла бы утаить от тебя хлеб, зерно и муку»; «всюду набирал я здоровых юношей в твою могущественное войско заранее, и всех их запер в тюрьмы и в амбары, пока они еще не успели разбежаться в горы; ибо ты ведаешь, что мирные египтяне не любят войны...» В финале пьесы разъяренная толпа рабов и слуг убивает не ко времени появившегося пророка. Поэт — пророк, аналогия прозрачна. Как прозрачен пафос «Рамзеса». Он направлен не против народа — против тиранов и против толпы.

Беспочвенной толпе еще предстояло обрести основу в испытаниях войны, голода, коллективизации. На том пути, что привел, мучительно изгибаясь, к народному единению, которое было так убедительно продемонстрировано в годы Великой Отечественной войны.

Но эти горизонты открывались уже другим поколениям. Блоку нечего было делать в новой жизни. Он одним из первых призвал к сотрудничеству с советскими властями. Но сотрудничать становилось все труднее. Чиновники во френчах объясняли ему, что статьи, в которых он хотел «поделиться» культурными сокровищами с новым читателем, не нужны. Писать стихи? Это значило сочинять оды революционным вождям. Такой путь мог избрать Брюсов, талантливый версификатор, далекий от русской классической традиции. Наследник Пушкина, Фета, Григорьева не мог унизиться до подобного. Эмигрировать? К тем самым «буржуа» и интеллигентам, которых знал слишком хорошо. Работать на Струве или кого-нибудь, подобного ему? Понимал — сотрудничества не получится.

«Свету нет совсем». 1919 год. Все пути закрывались. Выбора не было. Заболев от нервного истощения и голода, он не противился болезни. У него оставались только собственная жизнь и право распорядиться ею.

Пока еще оставалось это право... Блок и Гумилев — путь двух поэтов России оборвался в один день. 3 августа 1921 года. У Блока началась многодневная агония. Он умер 7 августа. Гумилев был арестован ЧК и через три недели — 25 августа — расстрелян.

Блок принес последнюю добровольную жертву. Вечернюю жертву уходящего века. Новое столетие грубо отбирало имущество, честь и жизнь людей, не спрашивая об их желании. Оно не задавало «лишних» вопросов, ограничиваясь весьма беглыми — времени на всех не хватало! — протоколами допросов.

Поэт мечтал, что очистительная жертва, в которой сгорит старая жизнь, приблизит явление новых людей на новой земле. Он успел понять, что наступившей эпохе его жертва не нужна. Но и не во имя прошлого его жертва. Она — во имя вечности. Вечного искусства, которое поэт не унижал приспособленчеством и ложью. Вечного стремления к справедливости и равенству людей.

Александр КАЗИНЦЕВ